

Мы вышли покурить на 17 лет...

Автор:

Михаил Елизаров

Мы вышли покурить на 17 лет...

Михаил Юрьевич Елизаров

Михаил Елизаров – прозаик, музыкант, лауреат премии «Русский Букер». Автор романов “Pasternak” и «Библиотекарь», сборников короткой прозы «Ногти» (шорт-лист Премии Андрея Белого) и «Мы вышли покурить на 17 лет» (шорт-лист и приз читательского голосования премии «НОС»).

«Елизаров сам себе и направление, и критерии оценки, и бог, и царь, и герой. Он подчёркнуто парадоксален и агрессивно провокативен. Его лирический герой – нахал, красавец, культурист, но при этом беспомощен и беззащитен, как дитя. От брутальности до нежности у него один шаг, который он и делает постоянно, поэтому его непрерывно “ведёт и корчит”, выражаясь словами Н.С. Лескова. Каждый рассказ в сборнике по-своему хорош. Они про любовь, про измену, про одиночество, про путешествия и про безнадежный опыт схватки с миром, который всё равно тебя победит» (Павел Басинский).

Содержит нецензурную брань!

Михаил Елизаров

Мы вышли покурить на 17 лет

Моей дочери Леночке посвящаю

Маша

Когда ты ушла от меня, точнее, не ушла, а просто оборвала телефонный разговор, словно оступилась и нечаянно выронила его из рук, и он, кувыркаясь, полетел вниз, как самоубийца с крыши, наш неудачливый разговор – ведь ты всегда так общалась со мной, будто вот-вот упустишь: пауза и короткая морзянка обрыва связи – «ту-ту», а потом не дозвониться...

После того как ты ушла от меня, хотя подобное уже случалось, ты и раньше практиковала внезапные беспричинные уходы – из ресторана ли, посреди улицы, и при этом никаких объяснений, пару дней ищи-свищи...

Ты ушла, а я почувствовал, что нынче не репетиция, не блеф, и такой одинокий ужас навалился на меня – горячий, мокрый, телесный, точно обезумевший водный спасатель, тяжёлый, как сом, который вместо того, чтобы наполнить захлебнувшуюся грудь воздухом, наоборот, резким своим вдохом сплющил мои лёгкие, словно бумажный пакет, и мне показалось, что я обмираю, обмираю, обмираю...

Такое осыпающееся тленное состояние. Наверное, я обмирал и в прежние разы, но ты возвращалась, и я, как разрешившаяся счастливая роженица, на радостях сразу и напрочь забывал то поверженное состояние.

Ты ушла по телефонным проводам, не перезвонила ни через день, ни спустя неделю. И в этот миг – причудливый временной феномен: неделя, упакованная в миг, – я понял, что действительно всё кончено. И семеро минувших суток, точно расколдованные трупы, вздулись, лопнули и разложились на тысячи рыхлых мучительных минут.

Однажды я терпеливо, как боевой радист, выкликал твой номер три часа кряду – гудки, гудки. Я слал тебе смс. Грубые: «Ты – блядская сука!» и нежно-беспомощные: «Любимая, объясни мне, что произошло?!»

Я пытался достучаться до тебя в твоём ЖЖ – отхожее женское местечко, сортир амазонок, для Ж и Ж, – но ты прилежно выполола мой комментарий, а меня «забанила» (вывела босого в исподнем за бревенчатую чёрную баню и прикончила в мягкий затылок).

Я намеревался тебя караулить у твоего подъезда – внутрь дома было не попасть, подступы к лифту стерёг грудастый, бабьей породы консьерж, – но благоразумно отказался от этого намерения: боялся, что ты придёшь не одна, а с другим мужским существом, подобно мне, практикующим письменное искусство.

Как младенцы тащат в рот всякую манящую дрянь, так ты затащила меня в свой дом на пробу – увела из книжного магазина, где я самовлюблённо и испуганно презентовал очередное бумажное чадо.

Я тогда только приехал в Москву. Сам я считал, что на заработки. Первые ноябрьские холода превратили работу в погодное явление: белёдые и похрустывающие ледком под ногами заработки стали заморозками.

Бездомный, я прожил три дня в издательском офисе, а после снял нищий угол возле метро «Тёплый Стан» – двойное название вскоре слиплось в засахаренный сухофрукт, в среднеазиатскую мигрантскую географию: узбекистан, кыргызтан, теплыйстан...

Низкорослая, как девочка, загребущая хозяйшка вытянула из меня восемь тысяч за комнату, в которой отсутствовала дверь – вместо неё ниспадала отставная штора, а окно занавешивала пыльная гардина, похожая на исполинский бинт. Письменного стола не было, и поначалу я ставил ноутбук на подоконник, пристраивался, искривлённый, бочком. Позже пересел к мебельной стенке. Дверца стенки, подобно замковому мосту, открывалась горизонтально вниз. Я приспособил её вместо стола. Она была узковата, дверца, на ней помещался лишь ноутбук, а места для мыши почти не оставалось; при неловком движении я скидывал мышью локтем, и она трепетала на шнуре, словно висельник.

В жёлтой, маргаринового оттенка стене над диваном торчали три голых гвоздя – плоские, как бескозырки, вершины равнобедренного треугольника, – когда-то удерживали картины или фотографии. Щелистое окно комнаты сквозило. Я безуспешно конопатил его, но окно всё равно цедило ментоловую стужу.

У меня почти сразу появилась писчая работа: за пятнадцать тысяч рублей я слагал колонку для раз-в-месячного журнала. Управлялся с ней в несколько дней, на скорую руку муштровал и школил слова, собирал глянцевую колонну и гнал на убой редактору. В остальное время высиживал новую книгу. А выходные вечера я проводил с тобой. И так четыре месяца кряду.

Ты прекратила нас накануне Восьмого марта. Кто-то из журнальных шапочных знакомцев бесчувственно шутил (каюсь, я всем и каждому жаловался на тебя, напрочь обезумел), сказал: «Чудесная подруга. Тебе не придётся тратить на мартовский презент», – так говорил мне, я бессильно улыбался шапочному дураку, а душа ныла, точно больной зуб.

Я сделался каким-то подкошенным и порожним, казалось, моя грудная клетка на мартовском ветру шелестит и хлопает полиэтиленовой пустотой. Что-то случилось с походкой, я потерял степенность, меня кружило, как сорванную афишу, я дёргано оглядывался по сторонам, будто нянька, потерявшая ребёнка...

Стал таким суетливым, беспокойным. Вздрагивал от любого резкого – даже не звука – движения. Однажды со стула на пол съехали мои брюки. Этот почти бесшумный, но неожиданный поступок одежды едва не выщелкнул сердце.

На меня, подранка, вмиг ополчились стихии природы и санитары городского леса. Редактор, чуя во мне творческого инвалида, впервые погнал прочь колонну моих рекрутов – не подошла колонка. Переписал проклятую – снова не подошла – на тебе! на! Обманул, до слёз бессовестно надул издатель – на! на! Хозяюшка взвинтила прайс за шторы до десяти тысяч – не нравится? Вот бог, а вот порог!..

Ко всеобщей пастернаковской травле подключилась моя иногородняя вторая половина – та, ради (из-за?) которой я уехал на «заморозки». Позвонила. Не знаю, каким инстинктом поняла, что нужно затапывать и добивать: «Подонки! Ты нас бросил!» – в таком тоне она со мной ещё не говорила. А рядом с ней, я слышал, плакал и тосковал мой сердечный ребёнок, мой крохотный сынок, и просил: «Мама, мама, не кричи на папу!»

Не помню, что я отвечал, вроде возражал: «Я в Москве не “поёбываюсь”, как ты выразилась, дурочка, а работаю!»

Половина закончила плачущим воплем: «Чтоб ты сдох, пидор!..»

А я вовсе не обиделся. Брань потеряла прежний смысл. Ну, пидор. С тем же успехом половина могла обозвать меня, допустим, вратарём: «Чтоб ты сдох, вратарь!»

К началу второй недели твоё отсутствие перестало быть дыхательно-сосудистой проблемой. Тоска перекинулась на кости. Нервически скулили рёбра, будто через каждое пропустили вёрткую проволоку. Чтобы заснуть, я хлестал валокордин – мятное старушечье снадобье. Оно помогало забыться на пару часов. Каждое утро начиналось жаром – меня словно бы всего обкатывали горящим спиртовым комом, и мне казалось, что я не просыпаюсь, а тлею единственной мыслью: ушла моя белокурая, моя мэрелиноподобная...

Вначале я попытался противопоставить тебе алкоголь. Здоровье отказало мне в этом тихом утешении. Двенадцать перстов язвы всем своим апостольным числом ополчились на меня. По утрам изжога разводила инквизиторский костёр в пищеводе и мне казалось, что я отрываю горячие угли.

От одинаковой, как тюремная стена, тоски по тебе я утратил способность к труду.

Когда-то шустрые мои пальцы разучились обрабатывать, вытачивать берёзово-карельские слова – токарю аминь. У меня конфисковали колонку.

В наваждении и умственной разрухе прошёл месяц. А потом я стал удалять тебя, как осколки. Стёр былые смс, выпотрошил из ноутбука фотографии. Прекратил ежечасные экскурсии в твой журнал – вычитывать, не подыскалась ли мне замена.

Ты меня подкосила, обезножила. Но пришла пора становиться на протезы, танцевать «калинку», искать колонку.

Для начала вздумал прибраться в комнате, вооружился хозяйским пылесосом. За вековым диваном в залежах пыли обнаружился мерзкий артефакт от прежнего жильца – использованный презерватив невиданного чернильного цвета, похожий на оторванное осьминожье щупальце. Пылесос храпел, точно конь, пока давился резиновой падалью.

Но стоило ли дальше позволять, чтоб на твоей блондинистой пу-пу-пиде свет сходилась клином? Я снова сел за книгу и начал строить планы на Марию.

Ты её застала. Помнишь Машу? Трогательное и угловатое пугало из гугла. Появилась с письмецом в моей почте, когда мы с тобой ещё были в разгаре.

Признаюсь, ты была невыносимо трудной. Театральной сцены не принимала – ни драмы, ни оперы. Кино не любила. Ничему не радовалась. Разве правильно расставленным на бумаге словам. Тебя мог развлечь какой-нибудь жестокий глумливый цирк. Арена, на которой творится унижение неказистого маленького человека.

Ты заранее решила, что эта Маша некрасивая. Мы вдоволь насмеялись над невидимой. Она, видишь ли, разжившись моим мейлом, прислала стихи. Так забавно написала: «Здравствуйте, аметистовый. Я ваша по-читательница. Что означает – почитываю и чту. Мой сладостный, мне важно ваше мнение...»

Ты обсмеяла эти полудрагоценные аметистовые комплименты и Машины вирши – они были тягучие, многоударные, как шаманский бубен, изобиловали натужными метафорами.

Маша рифмовала пейзажи: небесные светила с осадками, зелёные насаждения с наслаждениями:

Земля в объятиях бетонного корсета.

Истерзанной листвой асфальт украшен,

Ночник дождя роняет слёзы света,

Подъезда нужник холоден и страшен.

Ревнивые кусты сухими крючьями

Сосредоточенно и зло друг друга ранят,

И лишь луна, облапанная тучами,

На них лениво и холодно глянет...

«Ночник и нужник, день чудесный, ещё ты дремлешь, друг прелестный!» – ты хохотала, как ворона. Я тебе вторил. Обрадовался – понял, чем тебя смешить. Ты на дух не выносила лирику. Я сам повадился слагать стихи, чтобы угодить циничной природе твоего смеха.

За окном идёт снежок, снежок,

Я тебя убил и поджѐг.

Дурашливый хорей шѐл в комплекте с девятнадцатой шанелью к Восьмому марта – но ты не дождалась подарка.

А Маше я тогда ответил. Похвалил в сдержанной манере. Она воодушевилась. Выслала новые стихи: «Будильник брызжет звонами, и сон дрожит туманами».

Я промолчал, Маша также взяла деликатную паузу. В декабре, где-то на середине нашего маршрута, ты провела первую репетицию – пропала дня на два, а потом объявилась, видимо, поняла, что я ещё не приручился, что не буду, одинокий, кровохаркать.

Маша поздравила меня с Новым годом. Вычурно и смешно: «Лазоревый! Вам наверняка пожелают здоровья и счастья. Я хочу, чтобы Вы запомнили меня в букете поздравлений. Поэтому желаю: пускай в следующем году рыжий поросѐнок прилипнет к потолку! Знайте – я на праздник совсем одна, острижена, как бледный маленький герцог, и пью морс».

Я ответил: «Пусть рыжий прилипнет», – чувствуя карамазовское, подло-стариковское копошение, похотливое паучье движение сладострастных пальцев – вот что вызвал во мне маленький герцог: одиночество, незащитность, липкая бледность стриженного паха и алая струйка морса. Подумать только, невидимая Маша на минуту совратила меня. Но я был слишком в тебя влюблѐн, а гугольная поклонница просто удачно потрафила моему воображению.

Она и позже слала мне нечастые весточки. Одна такая пришла, когда тебя уже не было со мной: «Каро мио, очень беспокоюсь о Вас. Не случилось ли худого? Точнее, худой? Сама я тощая, но не терплю худышек...»

Я уверился, что Маша послана мне в утешение.

Вскоре после генеральной уборки (моя, моя вина, в чернильном гондоне я не разгадал зловещего знамения!) назначил герцогу встречу. Написал: «Маша, мы с вами знакомы без малого полгода. Давайте повидаемся». Я из шика сохранял это множественное «вы», приберегал для будущего: «Машенька, позвольте, Машенька, снимите, Машенька, раздвиньте...»

Договорились встретиться в центре, у памятника Пушкину. Накануне сошёл снег, подмокший апрель от нахлынувшей отовсюду земли казался чёрным. Пахло травяными кормами и влажной пашней – крепкие сельскохозяйственные запахи. Солнце заново училось припекать, но как-то неуверенно, странно, будто ощупывало то там, то здесь тёплыми пальцами.

Я ждал. Маша опаздывала. Я кружил вокруг бронзового сводника, высматривая тебя, моя милая, – был почти уверен, что Маша выглядит словно твоя добрая разновидность.

На пятнадцатой минуте решил звонить. Маша заранее прислала свой телефонный номер – помню, он болезненно цапнул меня клычками: две последних цифры были четвёрками. Представляешь, милая, Машин номер, как и твой, имел оскаленную змеиную челюсть.

Маша отозвалась: «Я уже пришла, но вас пока не нахожу», – в телефоне вместе с Машиним голосом звучал тверской шум. Просигналила машина, и я услышал в трубке близнец клаксона. Маша была совсем рядом.

И тут я увидел Машу...

Не так. Я увидел её, но я даже не подумал, что это Маша. Я рыскал глазами, но она сама заговорила со мной: «Это я, лазоревый...»

Косо улыбнулась, и я понял, что Маша уже презирает меня за мою оторопь, за мой мужской испуг. Где-то в ветвях страшно расхохоталась ворона.

Если допустить, что Машины зубы были напечатаны в таймс нью роман кегль двенадцать, то два заглавных её резца были восемнадцатой верданой. К зубам у Маши оказалось бесполое лицо горбуна – привидение из моей давней бумажной фантазии. Она была похожа на скрипача, на мальчика-калеку с волосами провинциального Башмета – редкое сальное каре до плеч. Верхняя губа, как гусарская баллада: ме-ня-зо-вут-юн-цом-без-у-сым, без-ос-но-ва-тель-но-зо-вут!.. Угреватый, будто наперчёранный нос. Покрасневший, в шелухе лоб. Обмётанные белым губы, точно она, как пугливая троечница, у доски поедала мел. Вывихнутые вздёрнутые плечи – помнишь, я сочинял тебе: «И вывихнуто плечико у бедного разведчика...»

Я был близок к дикарской реакции – отмахиваясь рукавами, кричать: «Что за дурацкие шутки? Где настоящая Маша?!»

– Здравствуйте, Маша, вот и свиделись, – пролепетал я. – Пойдёмте пить кофе.

А что мне оставалось делать? Я, разумеется, не взял Машу ни за руку, ни под руку, она расхлябанно плелась рядом.

– Как дела, Маша? – Я оглянулся. Она словно нарочно отстала, чтоб дать мне её рассмотреть с головы до пят. Ну, конечно же, всё было не так ужасно. Обычная некрасивая сверстница – может, чуть старше. Простенько, почти бедно одетая – в зябкий до колен синий пуховик с капюшоном, ниже – джинсовые штанины и промокаемые сапожки.

– Дела? Превосходны, мой лазоревый. Я прямо с похорон...

– Ах, Маша, ну почему вы не сказали, что сегодня неподходящий день для встречи? Мы бы перенесли на другое время. Надеюсь, несчастье не в вашей семье?

– И не надейтесь, каро мио! – Машины глаза воссияли. – Умер мой брат, – она сполна насладилась моей растерянностью.

– Маша, я соболезнаю...

– Пособолезнуйте мне пятнадцать лет назад, когда он изнасиловал меня, – Маша мстительно оскалилась желтоватыми шрифтами. – Но я не могла не проводить его, вы понимаете? – снова пронзительный взгляд искоса.

О, Господи! Бежать, прочь бежать, как Мизгирь...

Я доволок Машу до «Кофе Хаоса» – ибо таков порядок.

В пятничный юный вечер почти все столики были заняты. Отыскалось место в курящей половине. Мы уселись посреди весёлых и глупых, как ёлочные игрушки, людей.

Я листал меню, Маша гримасничала – казалось, она разминает перед боем лоб и щёки. Я предложил нам капучино, созвучное Машиной кручине.

– Два средних! – попросил я у прислужницы «Хаоса».

Разговор не клеился. Маша, сложив брезгливой гузкой рот, виляла им во все стороны, точно обрубок хвоста. Потом сказала:

– Прискорбно, лазоревый. Мы с вами видимся первый и последний раз. Вы больше не придёте...

Произнесла с такой болью. А что я мог ей возразить, милая? Она была права. От лживого – «ну, что вы такое говорите, Маша, мы с вами ещё много-много раз» – выручил заказ.

Маша погрузила гузку в капучино, вдруг неожиданно вернула покойного братца:

– Но вы не осуждайте Альберта, каро мио. Давайте-ка я вам покажу его...

Маша полезла за шиворот – под распахнутой курткой показался отворот пиджачка, – вытащила что-то вроде плоского кожаного портмоне, достала фотографический ломтик три на четыре. Со снимка смотрел пучеглазый базедовый башмет, отдалённо схожий с Машей.

– Он был старше меня на три года. Имел дивный талант к математике. Но из армии вернулся законченным шизофреником. Его там изнасиловали, лазоревый. Он пытался покончить с собой, а в результате надругался надо мной. Мама чуть не умерла, когда узнала. Мы никуда не сообщали – оставили в избе весь этот сор. Но я его простила!..

Маша говорила излишне громко. Её бравый рассказ, вероятно, был слышен соседним столикам.

Маша ринулась ртом в чашку, будто в пучину, вынырнула с густой кофейной бахромой на губе.

– Он скончался от рака поджелудочной. Это произошло из-за тех ужасных таблеток, которыми его пичкали. Он чудовищно растолстел, у него вылезли все волосы...

За ближним столиком произнесли: «Усы, как у ёбаной лисы!» – юные голоса расхохотались.

Маша почему-то приняла «лису» на свой счёт. Она утёрла усатенькую губу и, взяв капучино, пошла на врага. Я не успел ещё ничего понять, как Маша, выкликнув отчаянное междометие, плеснула в грубиянов. Я одеревенел от неловкости.

Милая – и смех и грех. Зазвенели ложки и блюдца. Опрокинулись два стула. Пострадавшая – смешливая девица в белой кофте – сидела точно после выстрела в грудь, растопырив глаза и руки. Её соседка восклицала: «Оля-а! Оли-и-и-чка-а!» – и удаляла салфеткой капучиновые раны. Маша, похожая на тютчевскую Гебу, потрясала громокипящей порожней чашей. Дружок раненой девицы отряхивал брючину. Вся курящая резервация, вначале онемевшая, загомонила: что такое, что за ужас? Прислуга «Кофе и Хаоса» уже спешила на погром. Измаранный дружок двинулся было к Маше – нерешительное лицо его выражало «казнить нельзя помиловать». Вдруг остановился, поражённый: Маша приоткрыла рот и повалилась. На полу принялась содрогаться, изо рта показалась негустая слюна, словно Маша выпускала на волю выпитое пенное капучино. Кто-то крикнул, что нужно срочно вызвать скорую, соорудить кляп, чтобы Маша не прикусила язык.

Я так и не понял, был ли это настоящий припадок или она симулировала падучую. Маша охотно приняла ухаживания всех сердобольных, послушно закусила импровизированные удила из скрученной жгутом салфетки. Поколотившись ещё пару минут, она встряхнулась, как собака, быстренько встала и обратилась ко мне своим выпуклым лбом:

– Лазоревый! Везите меня домой!..

Я остановил на дороге азиата-кочевника, кое-как запихнул Машу в машину, сунул ей пятьсот рублей. Она цеплялась, норовила вывалиться на тротуар, тянула руки:

– Не уходите! Простите!..

– Дорогая, вы ни в чём не виноваты!.. – Я утрамбовывал Машу поглубже, пришпоривал водилу: – Да поезжайте же, черти вас дери!

Уехал, увёз. Милая, в тот вечер я о тебе не вспомнил. Я был полон Машей.

Она перезвонила через пару часов. Я слышал улицу. Маша прокричала, что азиат пытался её изнасиловать, отобрал пятьсот рублей и выбросил по дороге – она бы расшиблась насмерть, но выжила, благодаря физической подготовке – два года фигурного катания по Дому пионеров – успела сгруппироваться и приземлиться на бок.

Я сказал:

– Маша, надо немедленно обратиться в милицию.

– Никто не станет его искать, – отвечала Маша. Пригорюнилась: – Я сегодня напугала вас, мой сладостный, со мной много хлопот... Но вы позволите мне вам звонить?

– Конечно, Маша...

Каждый божий день! У неё в мобильнике был установлен какой-то палаческий тариф, позволявший ей общаться часами. Она не знала меры. Назначала встречи, будто нападала из засады:

– Потом добавить лавровый лист, имбирь и красный перец... Каро мио, а приходите-ка в гости, я вас попотчую...

Я из последних сил выискивал предлоги для отказа: порвался гуж, кучер не дюж...

– Доброе утро, мой сладостный! Проснулись? Хочу, чтобы вы пригласили меня на танец... – Маша заливисто, по барабанным перепонкам, смеялась. – Вам ничего не придётся делать, каро мио. Слышите музыку?..

Бум-ца-ца, бум-ца-ца, бум-ца-ца.

- Слышу, Маша...

- Штраус! Он волшебный. Ну, давайте же руку – вот сюда, на талию, и кружите меня...

От этого можно было сойти с ума. Но я согласился. Мы танцевали не реже трёх раз в неделю. Мазурку, польку, краковяк, танго... На летке-енке «прыг-скок, утром на лужок» я забастовал:

- Маша, я устал от ваших плясок. Ради бога, дайте поработать!

Она обиделась и не появлялась, быть может, неделю. Милая, я благословенно подумал, что недооценил её обидчивость.

Звонок. Трубка шумно задышала и разрыдалась:

- Лазоревый, беда! Я вам рассказывала, что у меня есть дочь...

- Да, Маша...

- Дочь Элеонора. Ей пятнадцать лет. Мой бывший гражданский муж Юра, физик-теоретик, он восемь лет назад ушёл из науки, занялся бизнесом, продавал оптоволоконный кабель в Аргентину. Их крышевали чеченцы. И вот теперь выяснилось, что Юра им много задолжал, и они выкрали Элеонору! Они мне звонили, требовали деньги. А Юра пропал!..

Начиналась лезгинка. Коленца с чеченцами.

- Но чем я могу вам помочь, Маша?!

- Поговорите с ними!..

- С кем?

– С похитителями моей Элеоноры!

– Маша, я не умею говорить с чеченцами. Да и что я им скажу?!

– Пригрозите...

Взамен мне пришлось минут сорок успокаивать Машу. Сизифов труд – утешать безутешное.

Я не особо поверил Машиной мыльной экзотике про Аргентину и оптоволокно, хотя чем дьявол не шутит...

– Лазоревый... – поутру меня разбудили рыдания. – Простите, я не сказала вам всей правды. Элеонора... Она не дочь Юры. Её настоящий отец – мой покойный брат Альберт!..

Час от часу... Спаси и сохрани...

– Я тогда забеременела... Юра об этом не подозревал. Чеченцы тоже не знают, они думают, что Элеонора – дочь Юры. А что, если сообщить чеченцам правду?! Вдруг они вернут Элеонору? Расскажите им сами, вы сумеете, я вам доверяю! Может, вам накладно звонить? Я дам ваш телефон!..

– Маша, прошу вас, не давайте мой номер никаким чеченцам!..

Я встал с дивана. Сон как рукой сняло. Вдалеке маячили подъёмные краны, похожие на виселицы из стрелецкого бреда.

Маша позвонила в полдень. Взволновано дыша:

– Лазоревый! Я всё устроила сама. Решила продать квартиру. У меня к вам одна просьба – помогите найти маклера! Я так боюсь обмана!

– Маша, дорогая, но у меня нет знакомых риелторов! В интернете полно всяких фирм – посмотрите...

Я перестал отвечать на звонки. Отправил смс: «Я в роуминге».

Маша вступила в телефонную переписку: «Лазоревый, я так ужасно по вам тоскую!», «Когда вы возвращаетесь? Нужно посоветоваться», «Целую подушечки ваших гениальных пальцев», «Мне предложили за квартиру рассчитаться швейцарскими франками. Соглашаться?»

Маша была регулярна, как приём лекарства, – четыре раза в день.

Каждый день приносил новости от Маши. Но вскоре разыгралась нешуточная драма.

«Убили Элеонору!», и с интервалом в четверть часа: «Срочно позвоните, иначе будет разрыв сердца!»

Я содрогнулся. Сколь велико было Машино отчаяние, раз она отважилась умертвить свою кровиночку – Элеонору Альбертовну, Элеонору Лже-Юрьевну.

Через пару часов получил смс: «Здравствуйте. Это сестра Маши – Валерия. Я пишу Вам с её телефона. Маша находится в Первой Градской больнице, состояние критическое». Другой почерк, чужая интонация. Не восторженная Маша, а прозаичная, как гречневая крупа, Валерия.

Я не поддался. Стиснул кулаки и не ответил.

Днём: «Это снова Валерия. Марии стало хуже. Предстоит сложнейшая операция».

На закате: «Операция прошла неудачно. Возможен летальный исход. Валерия».

В ночи: «Мария впала в кому. Приезжайте проститься».

Иногда я сомневался в авторстве, и мне мерещилась монструозная кузина, очередной башмет, несущий вахту у Машиного смертного ложа...

В два часа ночи меня разбудила, будто ткнула пальцем, печальная весть: «Мария умерла».

Форсированная драматургия загнала неопытную и страстную Машу в могилу. Кто перехватит эстафету ухаживания? Неужели Валерия?

Утром пришло: «Прощание с Марией состоится завтра в 11 утра. Приезжайте по адресу метро Первомайская, 7-я Парковая улица, дом такой-то, квартира эдакая. Прошу подтвердить ваше присутствие. Больше я Вас не потревожу. Валерия».

Изредка мелькала мысль, не прошвырнуться ли на Машины поминки, чтоб повидать их всех: сестру Валерию, физика Юру, чеченцев, Машу в утлом гробу...

Впрочем, знал, что не поеду: первомайский адрес за версту разил первоапрельским похоронным фарсом.

Милая, в те непростые минуты я просил у тебя прощения за мои былые звонки и письма, за позорную погоню с оттопыренным крючковатым мизинцем – вернись, вернись и больше не дерись.

Я отпускал тебя, милая...

А днём пришла лазоревая эсэмэска: «Слухи о моей смерти преувеличены. Умерла другая Мария. Взбалмошная сестрица Валерия, как обычно, напутала, простите её. Вообще, столько всего произошло – давайте же повидаемся! Ваша Маша».

Паяцы

Сердце изболелось, глядя на Марину Александровну и Вадима Рубеновича.

У летнего кинотеатра сцена фактически отсутствовала: только коротенький выступ, похожий на обиженную нижнюю губу – «кинотеатр вот-вот расплчется», – поэтому к этой выпяченной губе специально пристроили подмости и две фанерных кулисы.

На Марине Александровне были тряпичные шорты на косой помочи, поверх родной причёски – зелёный поролоновый ирокез.

– Слушайте новости! Свежие огородные новости!.. – выкрикнула деланным мальчишеским голосом.

– Ах, зачем ты так шумишь, невоспитанный мальчишка?! – подхватил реплику Вадим Рубенович.

К подбородку он приладил седой козлиный локон, а на переносицу самодельное, из проволоки, пенсне. Халат и шапочка были поварские. Чтобы превратить их в одежды сказочного лекаря, на шапочке губной помадой нарисовали жирный крест.

– И где ты только вырос?..

– На грядке, синьор! Разве вы не узнали меня?! – Марина Александровна прибавила задора.

– О, конечно же узнал! – лукаво отозвался Вадим Рубенович, профессионально адресуя фразу зрителям. – Достаточно взглянуть на твою головку-луковку!..

Марина Александровна была Чиполлино, а Вадим Рубенович, стало быть, изображал Айболита. Это всё называлось «затейничество». Два сказочных персонажа в течение полутора часов занимались групповым развлечением отдыхающих малышей – песни, пляски, конкурсы с копеечными призами.

То есть: Вадим Рубенович, к примеру, играл на аккордеоне, а Марина Александровна пела игрушечным дискантом: «А-а-аблака-а-а, белогривые лоша-а-адки!..»

Главное, чтобы дети подхватили песню. Марина Александровна для этого делала такие приглашающие движения руками – мол, давайте, все вместе, хором: «А-а-аблака-а-а-а!..»

Или конкурс. Чтение стихов. Любых, кто что вспомнит. Искусство Марины Александровны заключалось в умении обнаружить потенциального добровольца, а потом заманить его на сцену...

В пионерском лагере «Дельфин» вместо настоящих малышей администрация согнала подростков. Бессовестных, шумных, омерзительного пыльно-копчёного цвета – июльская смена подходила к концу. Похожие на павианов, они по-собачьи улюлюкали и не желали участвовать и подпевать. Я смотрел на Марину Александровну и Вадима Рубеновича, испытывая чувство беспомощного стыда.

Я сошёл с паяцами неделю назад. Приехал, изнурённый удушливым плацкартом. Крымский зной оглушил. Я снял в тридорога комнату в крепких кулацких хоромах из песчаника. Панцирное ложе было продавлено и больше напоминало не кровать, а гамак. На полдня я забылся обезумевшим сном. Очнулся, вконец угоревший, поплёлся к морю.

Моё северное туловище под солнцем казалось мне даже не белым, а ливерно-сырым. Я застеснялся самого себя и побрёл искать укромное место. Вначале шёл через раскалённую толпу по набережной, мимо дышащих мясом и тестом лотков, мимо скрипучих причалов, мусорных баков, набитых выеденными арбузными черепами. Воздух от жары дрожал и звенел. Пахло водорослями, кипарисами, жареной осетриной и общественными уборными.

Наконец, асфальтовая тропа скатилась под гору, растворилась среди камней. В вышине, похожая на шахматную ладью, желтела античная руина. Рядом переливалось кварцевыми искрами зелёное пышное море.

– Эй! Молодой человек! Вы сгорели! – крикнула мне Марина Александровна. – Немедленно сюда! Тут за камнем тень!

Я пошёл на зов. Старался смотреть не на Марину Александровну, а вокруг. Всю её ладную фигурку покрывала высохшая глина цвета нежной патины. Миниатюрные грудки были размером с крышку от заварочного чайника. Низ живота заканчивался волнительной эспаньолкой. У керамических ног Марины Александровны сидел глиняный, как голем, худой и голый Вадим Рубенович – улыбался. Так мы познакомились.

Вадиму Рубеновичу было сорок лет, Марине Александровне – тридцать шесть. Жили они вместе восьмой год, но только в этом апреле расписались – молодожёны...

Вадим Рубенович, сколько себя помнил, работал в самодеятельности, Марина Александровна раньше отплясывала в народном коллективе. Подружились они здесь, на отдыхе, подумали и соорудили три программы: детскую, взрослую – всякие юмористические сценки, – и певческую – романсы, песни из репертуара Никитиных...

– Мишенька, я видел, как вы за нас переживали, – Вадим Рубенович поливал из рукомоёйника свою лысую, как пешка, смуглую голову. – Вам кажется, что мы оскорблены, унижены... Это неправда. Взгляните на ситуацию по-другому. Мы три месяца проводим на море, отдыхаем и при этом зарабатываем неплохие деньги... А на всяких оболтусов внимания не обращаем. Да, Мариш?..

Мы встречались на камнях каждое утро. Паяцы так потешались над моими плавками, что на второй день я отважился и снял их, плавки. Затем позволил Марине Александровне обмазать себя глиной, превратить в истукана.

– Мишулечка, – щедро восторгалась Марина Александровна. – Какое же у вас красивое тело! Аполлон! Аполлон!

– Вы тоже очень красивая, – хвалил я Марину Александровну. Стройные балетные ноги, пожалуй, выглядели излишне крепкими, громоздкими. Вообще, нижняя часть Марины Александровны была словно на размер больше верхней её половины. Но в целом она выглядела хорошо. Белозубая. Зелёные, цвета крыжовника, глаза.

Мне было двадцать два года, и немолодые паяцы взялись опекать меня. Подкармливали абрикосами, грушами, виноградом. Ночами провожали до калитки – я расточительно поселился рядом с морем, а они снимали где подешевле – сэкономили.

По утрам Вадим Рубенович уплывал на крабовую охоту, плескался среди подводных камней. А Марина Александровна нежно покрывала меня глиной. Поначалу только спину, но потом как-то случайно я подставил ей живот, поворачиваясь, точно горшок на гончарном круге.

Однажды, когда Вадим Рубенович, взбрыкнув ластами, надолго занырнул, она приложила к моему паху ладонь, полную жидкой глины, и прошептала каким-то оступившимся голосом: «И здесь тоже надо намазать...»

Я вздрогнул. Мы оба, как по команде, уставились на волны: не всплыл ли Вадим Рубенович. Над водой лишь парила одинокая чайка, похожая на матроску цесаревича.

Вечерами на набережной гремели дискотеки. После той распростёртой чайки Марина Александровна не позволяла мне знакомиться с ночными крымскими девочками – лёгкими, блестящими, как стрекозы. Стерегла меня, улучив мгновение, припадала к моему уху горячим от выпитой «Массандры» шёпотом: «Обожаю, обожаю тебя...»

Дома я укладывался в свой железный гамак, представлял Марину Александровну и облегчал себя рукой.

Мы изнывали. Вадим Рубенович погружался в пучину, я стремительно прикивал к Марине Александровне, коротко впивался губами в её крошечную грудь, точно не целовал, а клевал. Или же мы жадно схлёстывались солёными горячими языками – ровно на протяжённость вдоха Вадима Рубеновича, едва успевая отпрянуть друг от друга, прежде чем над водой блеснёт на солнце стекло его маски. После каждого такого рваного поцелуя глиняный кокон в моём паху раскрывался, выдавая меня с потрохами...

В канун моего отъезда мы попались. Вадим Рубенович возвращался с охоты каким-то излишне торопливым брассом. Почти бегом подошёл к нам. Я быстро перевернулся вниз животом, чтобы скрыть вздыбленный бесстыжий потрох. Вадим Рубенович с высоты роста посмотрел мне в лицо, будто заглянул под кровать.

– Михаил, вы поступаете очень дурно! – резко сказал он.

– А что случилось? – недоумённая беспечность не удалась. Голос скрипел на зубах, словно каждое слово обваляли в песке.

– Вы сами всё прекрасно понимаете, – Вадим Рубенович даже не смерил, а точно взвесил меня презрительным взглядом и отбросил в сторону. – Марина, собирайся, мы уходим!

– Какая-то глупость... Недоразумение... Глупость... – бормотал я, чувствуя спёкшиеся от неловкости щёки. Марина Александровна молча набивала сумку. Вадим Рубенович, надев на руки ласты, похлопывал ими как ладошами – поторапливал.

Они ушли. Я маялся. Представлял, что там, за валунами, Вадим Рубенович, так и не снявший хлёткие ласты, будто оскорблённый тюлень, отвечает Марине Александровне злые пощёчины, а она покорно принимает их и не закрывает виноватого лица.

Заноза и Мозглявый

Заноза увидел Мозглявого. Узнал и вздрогнул от радости. Целым организмом содрогнулся, одним оглушительным пульсом, точно сердце вдохнуло и выдохнуло сразу всеми кровяными литрами. Опомнившись, Заноза сообразил, где виделись. По телевизору виделись. Вчера по MTV показывали Мозглявого – жиденький, невысокий, щуплое личико, крашенные канареечные волосы сзади топорщатся птичьим хвостиком – три пёрышка налево, два направо. И фамилия у Мозглявого была наполовину игрушечная, детсадовская – похоже на Птичкин или Лисичкин. Мозглявого хвалили, он оправдывался и благодарил.

А Заноза просто заглянул погреться в «24 часа». В центр приехал погулять, весь вечер ходил без смысла, будто патруль, с улицы на улицу. Время наступило холодное, ноябрьское, а куртка на Занозе была лёгкая. Хорошая пацанская куртка. Но, как говорила баба Вера, на рыбьем меху куртка. Заноза для тепла поддел свитер, и теперь из рукавов, словно кишки из рваного живота, лезли неопрятные шерстяные манжеты.

А на Мозглявом куртка была хоть и чёрная, но полупацанская. Со смешными пуговицами – длинными, как патрончики. И на ногах ботиночки. Заноза даже усмехнулся. Не нормальная мужская обувь, берцы там или сапоги, а именно кукольные «ботиночки»...

Но до чего же он обрадовался Мозглявому. По-людски обрадовался. Как родному. А то ведь за весь вечер ни одного знакомого лица.

– О! – Заноза раскрылся, широко шагнул навстречу Мозглявому: – Я, значит, гулял, – пояснил он. – Потом сюда!

Заноза ничего покупать не собирался. У него было своё в бутылке из-под коньяка – ликёр пополам с бабкиной наливкой и водкой. Заноза называл это «рижским бальзамом», потому что раньше носил с собой бутылочку из-под «рижского» – красивую, керамическую. Пока с пьяного несчастья не уронил. Затем стал наливать дозу в коньячную чекушку, но по старинке всё, что ни намешивал, называл «рижским бальзамом».

Так и было. Заноза грелся, взгляд его, беспокойный и непредсказуемый, как муха, кружил по витрине, взмывал, пикировал на щёку продавщице, туда, где родинка, похожая на нежно-рыжую шляпку опёнка, оттуда на потолок и снова вниз, к золотой россыпи «трюфелей». И тут – раскрылась дверь и зашёл Мозглявый в полукурточке и ботиночках.

– Не вспомнил? – честно удивился Заноза. – По телевизору ж виделись! Вчера!

Мозглявый натруженно улыбнулся. Он привык, что его последний год узнают на улицах, в магазинах. Слева направо осмотрел Занозу. Как будто мелком контур обвёл. И потерял интерес.

Внутри Занозы дрогнула болезненная струна. Он понял, что не понравился Мозглявому. По одежке приняли – по манжетам шерстяным...

А Заноза нормально выглядел. Куртка, штаны, берцы. Всё черное. Свитер зелёный с коричневым зигзагом. Аккуратно подстрижен. На левой руке – часы. Баба Вера всегда говорила, что у мужика должны быть часы. Роста Заноза был высокого. В принципе – широкоплечий. Только плечи как-то к низу тяготели, словно Занозу тащили из тесной трубы. Эти скошенные плечи Заноза пять лет в зале выпрямлял. И тренер обещал: работай и расправятся. Все равно не поднялись, лишь обросли какими-то горбатыми мышцами.

– Это ж ты? – радушно уличал Заноза Мозглявого.

– Я... – разоблачённый Мозглявый вильнул глазами, чтоб объехать раскинувшегося, как грузовик, Занозу. Не получилось.

– Кра-са-ва! – Заноза уже перегородил собой всё пространство, потянулся, чтобы ласково потрепать Мозглявого за холку. Тот отступил на шаг, увернулся, точно малая собачка.

– Куросава, – вполголоса пошутил Мозглявый. Спыхватился, что Заноза не поймёт его образованной иронии, выдал вежливую заготовку: – Спасибо. Обычная роль в среднем сериале...

– Ты ж актёр! – бурно возликовал Заноза. От избытка чувств шлёпнул Мозглявого по щуплым плечикам с обеих сторон, словно взбивал подушку. – Я тебя сразу узнал!

Шлёпнул и ощутил, как сотряслось хлипкое воробьиное нутро Мозглявого. А Заноза радовался разве что в четверть силы. Ну, может, чуть жёстче, чем позволял этикет. Вообще Занозу несколько задело такое нарочитое неуважение. Деликатней нужно относиться к людям, которые тебя узнают и приятные слова говорят. Ясно, что Мозглявый, конечно, да – Мозглявый, актёр и всё такое. Но ведь и Заноза-то не хуй с горы. Это ведь тоже понимать нужно...

А Мозглявый решил попрощаться, улыбнулся так, типа «ну бывай, пока», и с места зашпешил.

– Дима! – представился Заноза. Подумал и добавил: – Заноза! Тебя как?..

– Андрей, – промямлил в сторону Мозглявый. Занозу царапнуло, что Мозглявый явно обошёлся бы без рукопожатия. Просто Заноза первым протянул руку и не оставил Мозглявому шансов на хамство. Мозглявый, чтоб отделаться, сунул ладошку – штык и сразу потащил обратно. А Заноза ладошку не пустил, прижал. Тоже чуть сильнее, чем следовало. Мозглявый поморщился, стал тащить на волю помятые пальчики. Маленькие они у него были, одинаковые, все пять – как мизинцы...

– Придавил? – фальшиво озаботился Заноза. Он знал, что хватка у него железная. – Извини, это из-за бублика моего резинового...

Заноза имел в виду кистевой эспандер. Тугой был. Заноза купил его в восьмом классе и поначалу всего десяток раз сжимал. А с годами кулаки вошли в силу. По очереди, со жвачным коровьим упрямством, часа по два кряду жевали

эспандер...

- Я его по пять тысяч раз мну. Медитирую. Пальцы чувствительность теряют...
Больно сделал? - Заноза повинулся: - Не хотел...

Слукавил. Заноза чувствовал чужую боль, как свою. В том смысле, что каждой жилочкой понимал, что именно испытывает человек, когда Заноза пожатием крушит ему ладонь. И кулак у Занозы был чуткий, точно медицинский зонд. Если Заноза бил в плечо, то будто вживую видел, как на ушибленном месте расплывается синяк, набухает тягучей болью гематома...

- Ну, чё, - Заноза гостеприимным жестом похлопал себя по карману куртки, где лежала коньячная чекушка. - Давай за знакомство. Рижского бальзамчику. М-м?..

- Не пью, - сухо отказался Мозглявый.

- Даже рижский бальзам? - удивился Заноза. - Ну, я тогда не знаю... Ты не смотри, что бутылка такая, - спохватился он. - Это я специально перелил. Но там рижский бальзам.

- Совсем не пью спиртного, - пояснил Мозглявый.

- Да ладно... - не поверил Заноза. - Бальзам - во! - Он показал большой палец.

При всей внешней ладности в теле у Занозы имелся серьёзный эстетический минус - большие пальцы на руках. Были некрасивые. В школе эти пальцы дразнили «сименсами», потому что они внешне напоминали те первые монохромные мобильники с мутными выпуклыми, как ногти, экранами - типа С35. Одноклассники пытались перекрестить Занозу в Мистера Сименса, но не прижилось прозвище. Во-первых, Заноза раньше всех виновных наказал. А во-вторых, не было в нём ничего от Мистера Сименса. Он всегда был Димой Занозой. Разве что баба Вера звала Димулькой. Но пальцев своих Заноза долго стыдился. И на бокс записался, потому что кулаки любил больше, чем разжатые пальцы.

С возрастом Заноза этот «сименсов комплекс» поборол. Правда, первую мобилу взял от «Моторолы», хоть «Сименс» был подешевле. А так, в быту, он часто свои

пальцы обшучивал. Особенно когда с девушками знакомился. Оттопыривал большой палец и говорил: «Девушка, можно ваш номерок? Я записываю», – и вроде бы набивал его в палец, как в телефон, а кнопки голосом озвучивал – пим-пим-пи-пи-ри-пим. И сразу с большого пальца звонил – шутка такая...

– Я тут не каждому предлагаю бальзаму выпить! – Заноза позволил себе слегка обидеться. – Это же от души. От симпатии!

– Вы русский язык понимаете? Я не пью! – категорично повторил Мозглявый. Причём произнёс таким тоном, что было понятно – спиртное Мозглявый очень даже пьёт, но не с такими, как Заноза. И не «рижский бальзам»...

– Раз не пьёшь, чё пришёл? – тяжело, словно опуская бетонную плиту, спросил Заноза.

– Пойду, – куда-то мимо ответил Мозглявый. Развернулся и заспешил прочь.

– Как скажешь, – терпеливо согласился Заноза. – Пойдём на воздух...

И вышел вслед за Мозглявым.

Грохотом и бегущими огнями навалилась улица. Свистящий холодок чуть остудил обиду.

– Приятно встретить творческую личность! – проорал Заноза на ухо Мозглявому. – Ты вообще чем по жизни занимаешься?

– В кино... – неохотно отозвался Мозглявый, – снимаюсь!..

Заноза подождал, вдруг Мозглявый спросит о его, Занозиных, делах. Тот невежливо шагал и молчал.

– Я на гитаре играю! – перекрикивая ветер, доложил Заноза. Мозглявый никак не отреагировал на новость, что перед ним музыкант. Может, просто не поверил.

– Вчера играл долго! – сочинял Заноза. – Чувствую – не идёт музыка! Так я с досады гитару взял и об пол разбил! Ба-бах, нахуй!.. – Заноза захохотал.

Он видел такую сцену в каком-то фильме. Ему и правда представлялось, что все гитаристы от творческих неурядиц ломают свои гитары. А в детстве, к примеру, Занозе казалось, что хоккеисты на льду нарочно падают, как в цирке клоуны...

- А куда идём? - спросил посвежевший от холода Заноза.

- На встречу!..

- Ну, пошли! Раз на встречу, то пошли. Составлю компанию!

Мозглявый скривился:

- Там вход строго по пропускам!

- Куда ж ты, интересно, идёшь, если там по пропускам? В тюрьму, что ли? - Заноза померк. Мозглявый явно пытался от него отделаться...

- На телевидение! Съёмка!..

- И долго?!

- Несколько часов!..

Заноза деловито глянул на часы - спасибо бабе Вере, приучила:

- О'кей! Я подожду! Не вопрос!

- Не надо, - остановился Мозглявый. - Я потом в ресторан с друзьями иду!

- Ну и хорошо! - из последних сил увещевал Заноза. - Я ж не помешаю. Я наоборот...

- В очень дорогой ресторан! - жёстко уточнил Мозглявый. Выразительно посмотрел на вылезшие манжеты Занозы.

– Так можно же и на улице выпить. – Заноза ощутил, как в груди заворочался тяжёлый горчичный жар. – Ты пока на съёмке будешь, я с бухлом решаю, я могу...

– Не надо!.. – перебил Мозглявый.

– Чё не надо? Чё тебе не надо-то?!

Вот такие моменты больше всего не любил Дима Заноза. Когда никому ничего не надо! Когда вот так прогоняют!.. Сделалось больно. Просто очень. Будто на голом сердце растоптали сапогом чёрствый сухарь...

Расстроился. А чего, спрашивается? Можно подумать, Заноза был таким увлекательным собеседником. Нет же. Его и в родном зале не особо жаловали. Сыпал, как тетрис, изо дня в день, из года в год одними и теми же словами-детальками, только успевай поворачивать да утрамбовывать. А замешкался – всё, смертельная обида. Не хотят, видите ли, с Занозой общаться...

Мозглявый свернул в тёмную, точно тоннель метро, арку сталинки. Впереди переливалась редкими фонарями кривенькая, утекающая куда-то под землю улица. Заноза механически последовал за Мозглявым в арку. Уличный шум сразу затих.

– Ну, ты что, так сразу уйдёшь? – нехорошо улыбнулся Заноза. – Давай хоть покурим, поговорим, как люди...

– Не курю, – отмахнулся Мозглявый.

– Может, ты ещё и не говоришь? – засмеялся Заноза негромким посторонним смехом. А Мозглявый даже не заметил, что в Занозе уже клокочет та сущность, за которую его ещё со второго класса прозвали Занозой.

– Ну, оставь хоть телефончик свой. Созвонимся... – Заноза огляделся. Пусто, тихо.

– У меня номер новый, я его наизусть не помню, – нагло соврал Мозглявый. – Говорите ваш...

– Забудешь, – не поверил Заноза.

– У меня память профессиональная! – торопил Мозглявый.

Заноза первым делом со всего маху наступил ногой на ботиночек. Мозглявый ойкнул. Нога Занозы съехала с ботиночка, а большой «сименс», согнутый крюком, уже зацепил ворот куртки Мозглявого. Одновременно с ногой Заноза поскользнулся. Специально. Палец надвое распорол курточку...

«Цок-цок-цок-цок» – посыпались на асфальт отлетевшие пуговицы-патрончики. С таким дробным цокотом стучали по линолеуму когти питбуля по кличке Пуля. Если Занозе звонили в дверь, Пуля подскакивал, бежал к двери: цок-цок-цок-цок. Вначале добежит, а потом уже голос подаёт. Только не «гав-гав», как обычная собака, а нутряно, страшно – «ув-в-в-в, ув-в-в-в», словно бы ожившее железо под землёй залаяло.

Заноза неожиданно подумал, что тигровый Пуля, или Пулька – так называла пса баба Вера, когда спит, очень похож на виолончель, ту самую, на которой пиликала мать, пока не спилась и её не погнали из оркестра...

– Я не нарочно, – ласково извинился за куртку Заноза. Улыбка уже не сходила с его лица. – Ты ж моя морда! – С нежной жестокостью Заноза всей пятернёй ухватил Мозглявого за щёку, стиснул, чувствуя пальцами синюю отёчную боль.

Мозглявый скульнул, рывком высвободил щёлкнувшую об зубы щёку.

Заноза, смеясь, цапнул Мозглявого за реденький волосяной хвостик. Мозглявый дёрнулся, освобождаясь, и сам себя наказал.

– Ты ж моя морда! – в пальцах Занозы остался пучок волос.

– Да вы отстанете от меня или нет?! – заверещал Мозглявый.

В кулаках у Занозы резко потеплело – прихлынула кровь. Они, точно эрегированные, налились, увеличились в размерах – «встали» на Мозглявого.

Заноза, опомнившись, сообразил, что уже с полминуты треплет Мозглявого. Не бьёт, а именно треплет. Как сказала бы баба Вера: «Поймал мыша – и ебёт не спеша...»

Заноза напоследок бросил кулак в бочок Мозглявому, сказал: «Хуякс!» – и прям увидел, как на девичьих рёбрах Мозглявого растёкся огромный чернильный синяк.

Мозглявый странно упал – в два приёма. Вначале согнулся, а затем повалился.

Заноза оттопырил большой палец левой руки, а правым пальцем стал смешно нажимать воображаемые кнопки.

– Пим-пим-пи-пи-пи-ри-пим... Алё! Алё, блядь! Как слышно? Приём! Это милиция? – пропищал Заноза. – Говорит актёр Хуичкин. Мне тут шиньён хулиганы оборвали! Приезжайте!..

Заноза засмеялся шутке про шиньон. Продудел «Турецкий марш»:

– Парабарабам-пара-барабам! – поднес «сименс» к уху: – Алё? Да, это я, Заноза... Ну, как дела?.. Да тут одному известному актеру Яичкину пиздюлей выписал. Чтоб не умничал... Конь в сапогах, блядь, невоспитанный!.. А вы, пацаны, где территориально?.. Ну, я щас к вам приеду... – Заноза подмигнул Мозглявому. – Привет тебе передают...

Мозглявый запыхтел.

– Ты не понял, Хуичкин?! – Заноза несильно пнул Мозглявого. – Тебе привет передавали. Что говорят в таких случаях вежливые люди?.. «Спасибо» они говорят!

– Сысибо... – бито прошелестел Мозглявый.

Захотелось ещё напугать. Заноза, как туча, навис над Мозглявым, обхватил руками голову и надсадно, с театральной истеричной хрипотцой, проорал:

– А-а-а! А-а-а! Ебальник! Ебальник! Что такое ебальник?! Не помню!!!

Мозглявый съёжился. Заноза перехватил его панический, сразу во все стороны взгляд – словно включили свет и тараканы разбежались.

Заноза на прощание разогнал ногами отлетевшие пуговицы-патрончики, чтобы Мозглявый лишний раз помучился, пока их все подберёт.

Посмотрел на скрюченного Мозглявого и побрёл прочь.

Пусто, холодно было в душе у Занозы. Будто в ледяной подмосковной новостройке.

Возле метро «Белорусская» Заноза глотнул из чекушки «рижского бальзаму».

На сердце потеплело.

Готланд

Шёл третий день книжного Франкфурта. Я полулежал на прилавке нашего издательского стенда, похожий на поверженный экспонат. Подходили полезные люди – бумажные агенты, переводчики, редакторы. Я избирательно отпускал наши честные книги, полагаясь только на классовое чутьё. Буржуазную сволочь гнал и отпугивал. Одаривал изгоев и радикалов.

– Вы – Елизаров? Приезжайте-ка к нам на Готланд. У нас с декабря свободная комната. Платим девять тысяч крон, это примерно тысяча евро...

Она напоминала терпеливую подругу какого-нибудь питерского живописца – такого выпивающего амбициозного бородача не без таланта, упрямо пишущего заунывные кандинские каляки-маляки. На «подруге» было что-то вязаное, в мягких серых тонах – растянутый по всему телу шерстяной «хемингвей» на женский лад; хотя, может, я что-то путаю. Просто меня умиротворяют свитера крупной вязки.

Я взял протянутую визитку.

«Шутит...» – подумал я, но спустя пару дней из Берлина написал ей, Приглашающей Стороне, и она ответила. Меня действительно ждали к декабрю в Швеции, на острове Готланд. Получалось, что мне повезло...

Немецкий грант подходил к концу и письменный стол с видом на море был весьма кстати. Начиналась третья книга, и она требовала уединения.

Для дороги я выбрал автобус. Во взрослой жизни я так и не научился пользоваться самолётами. Летал в школьном детстве на маленьких пассажирских «яках», в которые ты запростоходишь со своим чемоданчиком и сам же укладываешь его на багажную полку. Современные аэропорты отталкивали меня суетой и страхом...

В турагентстве, где я покупал билеты, мне выдали дотошную распечатку дорожного плана. Всё в нём казалось элементарным. Вначале из Берлина до Копенгагена. Там вечерняя пересадка на автобус до Стокгольма – и первое неудобство: прибытие в час ночи, а рейс в порт Нинасхам аж в девять утра... Ну, не беда, переночую на вокзале... Из Стокгольма в порт, оттуда на пароме до острова Готланд, в город Висбю... Поражаясь своей недюжинной предусмотрительности, я метнулся в обменку на Александерплатц и там поменял сотню евро на шведские кроны.

Берлинская зима выглядит как харьковская пасмурная осень. Нет, конечно же, случается, что и в Берлине выпадает снег, тогда немцы бормочут: “Eto zhe, bljat, kakaja-to Sibir”, но в целом мягкая там зима, с утренним инеем и вечнозелёной травой...

За день до отъезда я разболелся в отсыревшем Берлине. В путь я отправился с температурой 37,8. В автобусе долговязо раскинулся, точно мост, сразу на четырёх креслах. Отлежавшись, чуть окреп, сожрал полкило мандаринов, колбасы и шоколадную булку, восстал из хворых и часов шесть кряду смотрел в окошко.

Нынешняя европейская дорога нехороша собой. Автобан так же однообразен, как облака под крылом самолёта. Хотя иногда попадаете озерцо в деревьях или крепкий хозяйский хутор из багрового древнего кирпича, луг с русоголовыми скирдами, медленные коровы домашнего кошачьего окраса – рыжие с белыми пятнами...

Мы катили через немецкие задворки, городки-закоулки. Один такой город напоминал продрогшую речную птицу, а второй – труп повесившегося поэта. Когда я перестал понимать вывески и указатели – латиница будто сошла с ума и стала коверкать все немецкие слова, – я понял, что мы в Дании. Она, в сути, была очень похожа на Германию, только меньше на этаж и от этого ещё грустнее.

В Копенгагене я забеспокоился. Автобус мотался по столице, там и сям высаживая пассажиров. Я бегал к водителю, уточняя, а не тут ли пересадка на Стокгольм, с вытянутой мучительной шеей выслушивал его лаконичное: «Найн» – и возвращался на место. И так четыре беспокойных раза.

Автобус остановился у заводской кирпичной стены – его маршрут тут заканчивался. Я снова подступил к водителю, и он мне ответил примерно следующее: “Peresadka na Stokholm zdes... Vrodje by...”

Я выгрузился вместе с двумя моими рюкзаками – громоздким армейским и маленьким, в котором лежал ноутбук. Вскоре выяснилось: что попутчиков на Стокгольм не оказалось. Приехали один за другим четыре микроавтобуса с полсотней датчан, вперемешку с голландцами, а может, шведами или норвежцами.

Подступился было к датчанам, но они не знали немецкого. Или же не хотели его понимать. Кое-как я перешёл на мой инвалидный английский, при этом, точно немой, помогая себе порывистой жестикующей: «А не здесь ли зе бас на Стокгольм?»

Датчане ответили: “A chuj jego znajet”.

Тут причалил двухпалубный автобус. Я снова бросился к водиле, тыча ему в лицо моими билетами и распечатками. Тот буркнул на своём датском: “Tra-ta-ta-holm” и даже кивнул, но уклончиво – не вперёд, а куда-то вбок, словно бы не согласился, а удивился.

Я закинул в багажный отсек тяжкий армейский рюкзак – гора с плеч, потом примостился возле окошка. Рядом со мной присела немолодая женщина с обветренным лицом Кости-моряка. Улыбнулась.

«Ис зыс бас ту Стокгольм?» – спросил я больше для успокоения.

И Костя-моряк ответила: “Net!”

И оно было громом посреди чёрного датского неба, это «ноу». Меня прошиб пот, я взвился и побежал прочь из салона, зычно во все стороны переспрашивая: “Stokholm? Stokholm?”

Обманщик-водила выпучил глаза и сказал – уж не знаю как, но я его понял! – что мой автобус будет через час. Vrodje by...

С проклятиями я кинулся к багажному отделению, зарылся в него с головой, вышвыривая наружу чужие вещи, чтоб добраться до моего рюкзака – гадкий, прямо-таки дурной поступок – боги, покровительствующие странникам, достойно накажут меня за это в пути...

Двухпалубный уехал. Я остался один у заводской стены. Минут через пять зарядил мелкий, будто через сито, дождь. Я быстро промок. Прошел час, а автобуса всё не было. Я подумал, что денег-то совсем не густо – что-то около ста пятидесяти евро. Как отсюда выбираться, и главное – куда?

У меня снова поднялась температура. Привалившись к стене, я сквернословил и богохульствовал. И тут пришёл автобус на Стокгольм.

Нежданная радость отняла последние силы. Я вполз в салон, оставляя за собой влажный улиточий след. Однообразно поужинал остатками мандаринов, колбасой и булкой. Памятуя, что нужно отоспаться перед бессонной ночью в Стокгольме, прилёг – благо снова достались четыре кресла.

Заснуть не получалось. Если я лежал на боку, лицом по ходу автобуса, то икал, с одинаковыми интервалами – точно какой-то физиологический метроном. И что удивительно, на другом боку икота отпускала, но начинала терзать отрыжка. Часа два я ворочался, попеременно икая и отрыгивая.

Потом мне надоело издавать звуки. Я глянул в окно. Вместо датской слякоти простирались сияющие ночным серебром шведские снега. И я подумал: «Как же так, Елизаров? Ты догадался поменять евро на кроны. Но почему ты не

поинтересовался погодой в Швеции? Из верхней одежды у тебя только тощая “косуха”. А там, за окном, быть может, минус двадцать...» Единственным аксессуаром тепла был шарф – я его временно переоборудовал в подушку.

В кабинке туалета, биясь лбом в косую перегородку низкого потолка, я справил нужду и механически spizdil полрулона туалетной бумаги – на дорожку. И этим окончательно навредил своей карме.

В половине второго мы прибыли на автовокзал в Стокгольм. Трещал нешуточный русский мороз. На улицах громоздились полутораметровые сугробы. Нужно ли говорить, что терминал был закрыт на ночь? Нужно. Он был закрыт до половины шестого.

Я обошёл вокруг вокзала и не обнаружил туда лазейки. Достал из рюкзака второй свитер и надел сверху, на первый. Отученный Берлином от морозов, я не взял с собой даже «пидарки» на голову. Но был шарф. Замечательный длинный шарф. Им можно было обмотаться, как фашистский беженец из Сталинграда. Я перерыл два рюкзака и не нашёл его. Наверняка я projebal шарф в автобусе. И это было мне наказанием за украденные полрулона.

Я потрусил по скрипучему снежку в поисках Макдоналдса – мне почему-то казалось, что они работают всю ночь. И я нашёл его, Макдоналдс, и он тоже был закрыт. И метро было зарешёчено – весь Стокгольм закрылся до утра.

Мне повстречались три исполинских полица в пуховиках – все трое были выше меня ростом, и я, почти двухметровый и стокилограммовый, впервые в жизни почувствовал себя невысоким и щуплым. Один из полицейских махнул рукой, указывая мне, зябкому, направление, и сказал: “Tut nedaleko hotel, pjat zvëzd”. Я ответил: «Сенкс», – и побежал в другую сторону. Денег на пять звёзд всё равно не было.

До открытия терминала оставалось три часа. От усталости и жара меня шарахало из стороны в сторону. «Околею тут к утру, как андерсеновская девочка со спичками. Мальчик с рюкзачками».

На ближней улице оказался ночной клуб. Я проходил мимо, и тут в одном из домов открылась дверь и оттуда, из неоновых радуг и звуков музыки, вывалился пьяный негр в облезлой кроличьей шапке.

Вход в злачное место обошелся в тридцать крон. Я зачем-то пробормотал на стремительно возмужавшем английском: «Мне очень замёрз, я сильно болей», – за десять крон в баре мне плеснули в стакан тёплой воды, чтобы растворить пакетик жаропонижающей дряни. Со стороны это смотрелось странно – будто я заказал стакан водки и от души сыпанул туда кокаину.

К моему столику приблизился опасливый негр, другой, без ушанки, и зашептал: «Ду ю хэв кокс?», а я устало ответил ему: “Poshël nacher!”

Три медленных, насквозь прокуренных часа я цедил остывшую воду с осадком из парацетамола. А в пять утра поплёлся обратно к автобусному терминалу. На электронном табло я обнаружил автобусный рейс в порт Нинасхам. Болезненный невыспавшийся ум нарисовал мне громоздкого, хамоватого мужика, хахаля пьющей и немолодой Нины – типичного Нинас-хама.

В открывшемся обменнике я обменял ещё пятьдесят евро – чтобы было. Обессилевший, присел в неудобное пластиковое кресло ожидания. Для порядка чуть понервничал – а на тот ли автобус я купил билет? – задремал, очнулся и снова понервничал – а придёт ли автобус?

А вот лучше бы не дремал, а заранее поискал нужную платформу. Потому что кто-о-о в девять утра, за пять минут до отправления автобуса, метался туда-сюда по терминалу с двумя рюкзаками? Я метался.

Но я успел-таки на автобус, в последний момент. Подсел к очередному Косте-моряку – должно быть, так выглядят все скандинавские бабы за сорок: «Бас ту Нинас-хам?» – И она сказала: «Йес. Tuda».

Паром оказался океанским пятиэтажным «Титаником». За двести крон я погрузился. На одной из палуб примостился на стуле. Чтоб не заскучать в пути, часа четыре терзал себя параноидальной думой: а на правильный ли паром я сел – у причала-то их стояло два. Быть может, я плыву вовсе не на Готланд. Потом я понял, что мне уже безразлично, куда плыть. Я смотрел в иллюминатор на перекатывающиеся волны Балтики – мутно-ледяного, мёртво-зелёного цвета во?ды.

Когда я сошёл на берег, светлый день закончился, опускались стремительные сумерки. В небе крошил мелкий и частый снег. Колючий штормовой ветер пронизывал «косуху» навывлет.

Я произвольно выбрал улицу и пошёл по ней, то и дело doëbivajas к прохожим с извечным русским вопросом: «Где эта улица, где этот дом?» – и показывал распечатку.

Дорога вывела к древней замковой стене. Уже не было просто улиц и домов. Были улочки и домики. Меня обступило Средневековье: настоящее, неповреждённое, точно все эти века его держали в нафталине, а тут вытащили из шкафа на мороз. Если бы я не был так измождён, то оценил бы эту скандинавскую старину, похожую на декорацию к рыцарскому роману.

Я оказался на городской площади. Из окрестных таверн муторно тянуло рыбной кухней. Возвышался разорённый собор – древний готический сеньор с сорванной шапкой. Неподалеку ударил церковный колокол. Я пошёл на звон...

Пожалуй, этот звон и вывел меня на нужную улицу. Через пару минут отыскался и дом. Я ждал очередного бесовского подвоха – разорились, закрылись. Или умерла Приглашающая Сторона. Никто не ждёт меня здесь...

Но она не умерла, Сторона. Она приветила меня в офисе, спросила: «Михаил, как добрались?» – и я, конечно же, сказал: «Отлично».

Она показала мне жилищные уголья – кухню, столовую, баню. Затем отвела в мою комнату. Из окна были видны кирха, пасмурное море, скалы и сосны в снегу.

– Располагайтесь, отдыхайте, – и Приглашающая Сторона откланилась.

У меня снова был письменный стол. Горбатенькая лампа. Книжная полка. Широкая двуспальная кровать, сколоченная из крупных корабельных досок. В этой уютной прогретой комнате, пожалуй, было чуть душновато. Я подошёл к окну – не презренному стеклопакету, а настоящей двойной раме. Первые окна открывались внутрь, а вторые наружу.

Точно ставни, распахнул я внешние створки окна. Шторм сразу же захлопнул левую половину, так что одно стекло вылетело и с битым звоном осыпалось куда-то под стену. Правую створку просто с корнем выломал, швырнул в сугроб... Моё окно за секунду стало вдвое тоньше.

Ochujevshij, я закрыл уцелевшие створки. Пробормотал: «На счастье! Это всё – на счастье!..»

И я действительно был там счастлив, в городе Висбю на острове Готланд.

Кэптен Морган

Ну, как они жили?.. Плохо жили, тошно. Другие давно бы разбежались, а они всё тянули лямку гостевого брака – кажется, это так называется, когда люди не расписаны, бюджет отдельный, будни у каждого свои, а совместная жизнь на выходные и по праздникам.

Полине Робертовне сорок один год, «первый тайм мы уже отыграли». Журналист. Замужем не была, детей нет. К бабке не ходи, сразу ясно, что второй тайм Полина Робертовна тоже просрёт, и с разгромным счётом.

Полина Робертовна – коренная москвичка, белая кость и голубая кровь. А Олег Григорьевич – омская лимита и тютя бесхребетный. Этим «тютей» Полина Робертовна унижает Олега Григорьевича за вопиющую мужскую кротость. Любимая его поговорка: «Выигранный бой – несостоявшийся бой». В этой версии Олег Григорьевич абсолютный чемпион. Что ни случись, утрётся и пойдёт дальше – непобеждённый. А так, по обычным человеческим понятиям, он, конечно, задрот и лузер.

В Москве Олег Григорьевич шесть лет. Если бы спросили его бывшие институтские товарищи: «Чем вообще по жизни занят, Олежа?» – он бы огляделся с изумлением и испугом, точно ребёнок, проснувшийся в лесу, и шёпотом признался: «А хер его знает. Ничем, наверное...»

Олег Григорьевич работает менеджером по персоналу в ОАО «Новые технологии». Раньше в советских учреждениях такая должность называлась «кадровик». Полина Робертовна дразнит его «старичком-кадровичком», хотя сорокалетний пухлявый Олег Григорьевич, разведённый мужчина без вредных привычек, выглядит гораздо моложе злой и тощей, как черкес, Полины Робертовны.

Встречи происходят на «Динамо», у Полины Робертовны. У неё своя двухкомнатная квартира в сталинке. Досталась по наследству от номенклатурной бабки. Олег Григорьевич снимает однушку в Печатниках. Когда въезжал, стоила семнадцать тысяч в месяц, потом двадцать, а вчера подняли до двадцати двух...

– Жаловаться – это не по адресу, Олежек! Это вон туда, это – нахуй! – Полина Робертовна указывает пальцем на дверь, подразумевая подъезд, улицу, метро и так далее, до самих Печатников. – Я тебе сопلي вытирать не нанималась! Хули ты меня прям с порога грузишь?! Зайти не успел, а уже наготове шаечка с говном. Олег, дорогой! У меня своих проблем выше крыши!.. – голос сорванный, хриплый. Ощущение, что не говорит, а кричит.

Олег Григорьевич обижается:

– Как так можно? Что за отношение? Я сейчас повернусь и уйду...

Но не уходит, просто кружит по кухне, бормочет, цыкает, возмущается.

– Слушай, Олег, прекращай пыхтеть! Надоело!..

После близости Полина Робертовна курит в кровати, пепельницу ставит поверх одеяла, прям на свою мальчишескую плоскую грудь:

– А хочешь, объясню, почему так с квартирой произошло? Хочешь? А потому, что ты – тютя бесхребетный! Не умеешь себя жёстко поставить, вот он (имеется в виду владелец конуры в Печатниках) и ебёт тебя в жопу без майонеза (оскорбительный заменитель вазелина)!

Несправедливо. Ну, или справедливо отчасти. Всем же в Москве поднимают цены – на то и кризис. Олег Григорьевич не исключение. И кто ж виноват, что общение малых мира сего складывается из ничтожных горестей: где и когда обругали, поимели, обсчитали?.. Жизнь виновата...

Олег Григорьевич раньше про другое рассказывал: о дочери, которая в Омске осталась, – как растёт, учится. Полина Робертовна с полгода слушала, а потом с улыбочкой заметила:

– Ты только не обращай внимания, что я зеваю. Просто такая увлекательная информация... Что, ты там говорил, у неё по алгебре?..

Про Омск Полине Робертовне было неинтересно, про друзей омских, удачливых коммерсов, тоже неинтересно.

– Таких друзей за хуй да в музей, – балагурит Полина Робертовна. Она вообще грубовата – и в беседе, и в постели. Как она сама про себя шутила: «Услуги госпожи и “золотой дождь” – выдача».

Олег Григорьевич спросил:

– Поль (он так называет Полину Робертовну – Поль), а я кто?!

– А ты, Олежек, «“золотой дождь” – приём»...

Нормальный мужик давно бы уже дверью хлопнул. А Олег Григорьевич боится скандалов, криков, перемен...

Полина Робертовна, впрочем, изредка прячет кнуты и крошит Олегу Григорьевичу пряник, потому что перегнуть палку тоже нельзя – где ещё такого тютю отыщешь. Но это она про себя понимает, а Олега Григорьевича пугает, что её мужчины с руками отрывают.

Олег Григорьевич который год в стрессе из-за своей никчёмной работы. Сидит тихим сиднем, бумажки перекладывает, и получает аж тридцать пять тысяч. А бесконечно так продолжаться не может – значит, скоро расплата за непреднамеренное тунеядство. Сократят, погонят. А на что существовать,

снимать жильё?..

Олег Григорьевич плохо спит, нервничает. Слава богу, хоть с алиментами решилось удачно. У него в Омске квартира родительская осталась, он её сдает и всю выручку до копейки отдает бывшей. Знакомым говорит: «Главное, что Светлашенька моя (дочка Света четырнадцати лет) ни в чём не нуждается...»

«Не нуждается», конечно, громко сказано: денег там в Омске не хватает; но совесть процентов на восемьдесят спокойна – не бросил на произвол, как другие. Он бы даже из зарплаты часть отдавал, но всем заправляет суровая столичная арифметика. Тридцать пять минус квартира (раньше двадцать, теперь больше), телефон, интернет, проезд на метро, пожрать-помыться, носки-трусы. В общем-то, жить не на что...

Полина Робертовна, как всякая москвичка, боится, что понаехавший Олег Григорьевич её «использует».

Использовать – вообще-то подразумевает «получать пользу». Какая Олегу Григорьевичу выгода от Полины Робертовны – ещё подсчитать надо. Вот, ей-богу, за хуй да в музей такую Полину Робертовну. Не пожалеет, когда грустно, не накормит, когда голодно...

– Олег, ты только не обижайся, но ёб твою мать! Ты сначала что-то купи в дом, а потом жрать проси! Я поражаюсь твоей провинциальной непосредственности! Может, у вас в Омске так принято? С какого перепугу я должна содержать здорового сорокалетнего мужика?! Ты мне за полгода хоть бы букет сраный принёс! Коробку подарил конфет!..

– Я приносил...

– Что ты приносил?! Мочу ты приносил и брызгал ей на стульчак! Олег! – грозно, с отчаянием. – Я – женщина! Ты это понимаешь?! Обычная женщина! Земная! Я хочу, чтоб обо мне заботились! Чтоб летом на море отвезли! Зимой, блять, шубу купили!..

Полина Робертовна курит, Олег Григорьевич на все лады ужасается Полине Робертовне, одним словом – «пыхтит»...

Давно это было. С тех пор питание у них раздельное. У Олега Григорьевича в холодильнике на «Динамо» своя полка – там его продукты. Проголодался – сам себе готовит. А Полина Робертовна – себе. Иногда друг друга угощают.

В чём-то же и Полина Робертовна права. Может, не по форме, но по сути. Разве не хотел Олег Григорьевич пожить на халяву в удобной двушечке? Если совсем честно... Конечно, хотел. Просто не получилось, на бдительную Полину Робертовну напоролся...

Однако ж третий год вместе. Может, общность поколений сближает, пионеры-комсомольцы, перестройка, «Гардемарины, вперёд!»...

А развязка следующая. Полина Робертовна из крепких напитков предпочитает ром «Кэптен Морган», золотой. Стоимость по Москве варьирует: в «Ашане» – одна, в «Перекрёстке» – другая.

В пятницу вечером после работы Полина Робертовна поехала в торговый центр на Войковскую. В «Рив Гош» купила помаду и тушь для ресниц. Осталось рублей четыреста. Потом зашла в супермаркет «Карусель» хлеба купить. И в алкогольном квартале обнаружила свой ром по шестьсот двадцать (остатки) и за семьсот тридцать (новая цена).

– Вот же ж, суки рваные... – Полина Робертовна сквернословит, как дальнобойщик. – Подорожал... Ёбанный ты по голове...

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://telnovel.com/ru/elizarov_mihail/my-vyshli-pokurit-na-17-let

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)